

ЭТО БЫЛ КЛУБ ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Летний антракт закончился - и снова на страницах «Московской среды» директор Дома актера Маргарита ЭСКИНА встречает гостей. Сегодня это один из самых популярных актеров Таганки и благороднейший Атос из «Трех мушкетеров» Вениамин СМЕХОВ.



ФОТО ЭДУАРДА ЛАПОВКА

Вениамин Смахов: Накануне нашей встречи я нашел книгу, подписанную твоим отцом, директором Дома актера Александром Моисеевичем Эскиным: «Последний экземпляр настоящей книги с удовольствием дарю одному из первых моих любимцев, Венечке Смахову». Это было в 1974 году, почти 30 лет назад. Еще нашел открытку: «Дорогой друг Венечка, будем очень рады видеть вас 20 октября на открытии 48-го сезона. Звоните. Ваш Эскин». Это было 20 лет назад.

Маргарита Эскина: Какое совпадение... Мы и в этом году открывали сезон 20 октября. А вообще открыт Дом актера был 14 февраля 1937 года - и 14 февраля мы сыграли. После пожара прошла целая жизнь - 11 лет. Произошли колоссальные изменения в судьбах страны, людей... Да и в твоей тоже...

Смахов: Бог послал мне удачу и везение, чего я совсем не заслужил. И эта удача - прежде всего моя жена Галя. Она театрный критик, историк, журналист. У нее своя работа, у меня - своя, но вместе мы - две половинки из классической песни. Своего рода корпорация. Дом наш был и остается в Москве. За последние 12 лет я поработал в двух российских театрах, на российском телевидении и канале «Культура», с большим восторгом принял участие в записи библиотеки русской классики... Очень часто нас с Галей приглашали для работы на славянских и театральных факультетах американских университетов. Время от времени я провожу мастер-классы в самых разных странах. Ставил и ставлю спектакли в разных странах и городах...

Эскина: Но ведь тебе выпала огромная актерская популярность. Или она для тебя ничего не значит?

Смахов: Когда я за два месяца до путча, возвращаясь из первой своей рабочей поездки в Германию, оказался в аэрофлотской зоне, моя Галя вдруг заметила: «А у тебя лицо меняется». Люди меня узнавали, перешептывались, и я, сам того не осознавая, набирался значительности. Снял как блин на сковородке. Уж очень хорошо стало под лучами внимания. Но бывает и неловко. Недавно на театральном фестивале в Омске публика и пресса из меня делали важную особу безо всяких оснований. Там присутствовали наши ведущие критики, которые не могли не посмеяться над этим. Они подсчитали, что за 7 дней я дал 18 интервью, побывал на всех местных телеканалах. Возможно, секрет внимания ко мне, как говорил Платонов, в веществе этой

книги - «Три мушкетера» - и, соответственно, фильма. Возможно, в неких особенностях моей роли Атоса, которую я взял напрокат из спектаклей, в которых играл на Таганке.

Не буду кокетничать, мне приятно, когда меня узнают. Тем более что при этом никто не говорит дурных слов. Только хорошие. Но сам я от уз популярности свободен. Честное слово, я не тщеславен. Мне хватает честности. Я, например, спокойно отказываюсь от работы в фильмах, которые мне неинтересны. Сейчас в кино стало интереснее, и я рад приглашениям от режиссеров.

Эскина: Очень хорошо знаю, чем для тебя была Таганка. Но человек непосвященный может подумать, что ты в своем новом, не совсем актерском качестве от чего-то очень важного для тебя отгораживаешься. Возможно, от самой Таганки.

Смахов: Моя любимая Маргошенька, ты одна из тех редких людей, кто слышит чужую боль. А тем, кто глух, объяснять бесполезно. Меня бог милловал - я не знаю, что такое отгородиться. И все мы, для кого значение Таганки выходило за границы театра, пережили страшную трагедию - изгнание Любимова, гибель Эфроса... Мы пережили и низкие сплетни, исходящие из разных органов печати, - что во всем виноваты актеры. Это уж совсем наивно, потому что в советское время актеры ходили по струнке. И не умели противоречить приказам сверху.

Что касается меня... Когда Любимов был фактически выдворен из страны, в театр пришел Эфрос, я, как и мои товарищи, занимал позицию вполне определенную - спасения театра, чести и достоинства частных к нему людей. В тот период я без диоптрических искажений точно видел, где ложь, а где правда. Хотя гении всегда находятся гораздо выше наших оценок. Например: когда умер Бродский, я понял, что и об Эфросе надо говорить вне категорий добра и зла. И Любимов, и Фоменко, и Рихтер, и Параджанов - они все необычайные. А мы подходим к ним с привычными мерками. Как написал Пушкин в письме к Вяземскому по поводу дневников Байрона - ах, мол, как всем стало хорошо, что Байрон тоже дрянь. Нет, сволочка, он дрянь, но не так, как вы.

Эскина: Просто гении находятся на другом этаже жизни.

Смахов: Но в тот трагический период, когда Таганка осталась без Любимова, многие актеры в Эфросе видели посланца ЦК КПСС, а не Аполлона. Любимов, став изгнанником, сразу взмыл вообще в небеса. Когда он перестал давать интервью, мы поняли, что у него шок и он может даже умереть. Мы жили слухами: он где-то что-то сказал, его кто-то видел...

Эскина: Любимов создал не просто театр, а необыкновенный человеческий организм. Это и Эфрос понимал. Он мне говорил: «Таганка - единственный театр, где я могу репетировать с двумя, тремя и даже больше составами. Такого нигде больше нет».

Смахов: Пусть меня не слышит Эскина, но во всех событиях, связанных с Таганкой, сама она тоже проявила себя как человек самого удивительного и высокого сорта. Она оказалась в единственном или почти

единственном числе среди друзей гениального режиссера Эфроса, кто ему сочувствовал. Самые близкие к нему люди не переступили порога Таганки. Это было заблоченное место. У многих тогда появился страх, что Эфрос поставит какой-нибудь советский спектакль. Слава богу, он не поддался. Он остался самим собой. Он ставил Мольера... А начал с пьесы «На дне».

Эскина: Я помню репетицию этого спектакля. В центре совершенно голой сцены стояла кушетка. На ней сидели обитатели дна. Я рыдала. Потому что тут было все - гибель Таганки, мира, каким я его себе представляла...

Смахов: Мы играли смерть своего театра-дома.

Эскина: Из того, что происходило, я многого не понимала, да и не знала. Конечно, осознавала всю несправедливость отъезда Любимова. Видела, что Веня Смахов, человек, с которым я связана какой-то особой ниточкой, занимает вполне определенную позицию. А с Эфросом, пока он не пришел на Таганку, прежде я ведь даже никогда не разговаривала. Но когда я увидела его глаза (какие это были глаза!), то поняла, что пошла бы с ним куда угодно. В то же время я не могла не видеть, что актеры не совершают ничего оскорбительного по отношению к Эфросу. А жалко было абсолютно всех. Возможно, актеров - больше, потому что я их очень люблю. Их состояние напоминало какую-то массовую трагедию, на которую и пера Шекспира мало.

Смахов: Но одновременно мы пережили и «тму низких истин». Сначала значительная часть интеллигенции восприняла адекватно все, что происходило с Таганкой. Но впоследствии, когда, возможно, благодаря мастерству идеологов пятого управления КГБ было сказано: «Стоп! Любимов - неприкосновенное имя. А Эфрос спасает Таганку» - вдруг стали послушно кивать партии и правительству... «И культурные люди стали на точку зрения следствия», - написал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Хотя были и высокие поступки. Скажем, Галина Борисовна Волчек и театр «Современник», не вмешиваясь в жизнь Эфроса, с первого дня протянули руки помощи всем тем, кого эта история сильно ударила. Но в целом все происходило, как в чеховских пьесах, где интеллигенция проболтала Россию...

Эскина: Но в самом театре ситуация оказалась куда драматичнее. Кто-то выдержал эти потрясения. Но убиты были все...

Смахов: ...включая и блестящих эфросовских актеров. Как писал Валентин Гафт в те ужасные дни: «На дне покоятся останки. Лишь трое выплыли с Таганки». С Анатолием Васильевичем остались те, кто его очень любил. Те, которые считали невозможным остаться, а именно - Филатов, Шаповалов, Боровский и я - мы ушли. Точнее, эмигрировали в «Современник». Потому что на тот момент Таганка перестала быть местом искусства, а стала местом политическим.

Эскина: Но Таганка всегда была политическим местом.

Смахов: Тем не менее даже влияние искусства при Любимове оставалось опосредованным. Любимов создавал сложные вещи, с которыми до сих пор разбираются театральные специалисты во всем мире. Одна из 10 книг Французской академии искусств так и называется - «Любимов и Таганка». Академик Капица, который прекрасно знал английский театр, так как долгое время работал в Англии, сказал: «Во всех театрах скучно, потому что я все там знаю. А с Таганкой появилась новая эстетическая информация». Знаете, наш общелюбимый с вами человек, Булат Шалвович Окуджава, который любил бывать и на спектаклях Таганки, и на ее вечерах и капустниках, незадолго до смерти сказал мне: «А ты напрасно думаешь, что мне все ваши спектакли нравятся. Мне и в «Современнике» спектакли нравились, и у Захарова. Да и вообще это человек нетеатральный. А на Таганку любил ходить, потому что это был клуб порядочных людей».

Эскина: Трагедия и в том, что на одной площадке свели не просто хорошего человека и плохого, а два абсолютно разных художественных мира.

Смахов: Этот театр был создан в первую очередь Любимовым. И мне повезло там быть - «в нужное время, в нужное место». Юрий Петрович всех награждал и добром, и славой в нашей совместной работе. Оче-

видно, и мы его наградили, пусть он и не догадывается об этом. Дай бог и дальше жизни и судьбы Любимову и актерам, старым и молодым, которые сейчас служат в этом театре. Но сегодня это уже судьба *одного из многих театров...* И хватит! Сколько же можно быть одними из лучших в мире?

Эскина: И все-таки... Как-то мы с папой ехали на Таганку и вдруг встречаем тебя в метро. Кажется, что тут особенного? Но ты был человек с Таганки, а все без исключения ее актеры тогда были небожителями. Как ты вообще сумел от нее оторваться?

Смахов: Понимаешь, я всегда был болен кочевьем. С детства хотел заниматься литературой, но в актеры бежал не в последнюю очередь потому, что актерство сулило удачу дороги. Когда на ранней Таганке задули ветры невзгоды и нам стали запрещать выезжать даже за черту московской оседлости, мне было грустно. И не только потому, что такого рода запрет разрушает статус свободы человека искусства. Но это был и запрет на само движение - на дорогу. Хотя признаюсь, когда мы ездили на гастроли, я кивал Любимову, который говорил: гастроли портят спектакли. Кивал, но был очень доволен нашими выездами. Однако впервые в длительную и прекрасную поездку по разлагающейся и коммерциализирующейся державе я отправился 12 лет назад. Таганка тогда вернулась в свои, любимоовские, берега, а меня ждали Эстония, Нарва, Питер, Одесса... Во всех этих точках я снимался в фильмах «Двадцать лет спустя» и «Тридцать лет спустя»... Я дрожал, решаясь на такое приключение. Я же был фанатик Любимова, к тому же уверенный в том, что без меня театр через пару месяцев развалится. Театр не развалился.

Это была уже другая жизнь и другая Таганка, хотя возвращение Любимова до сих пор остается чудом. Все-таки это первый русский эмигрант, вернувшийся не в виде праха, как Шалапин, а живьем и в радости труда.

К тому времени я уже занимался режиссурой, телевидением. Потом меня пригласили в Германию поставить оперу, в Израиль - драму, в Америку тоже драму... И тогда мы договорились с Юрием Петровичем о моем принципиальном и вечном присутствии в этом театре. Я повис в галерее фотографии, которую, правда, иногда снимали, потом вешали обратно... Но это уже история нашей театральной коммуналки. Тем не менее моя трудовая книжка лежит на Таганке. Я артист Таганки. По договоренности с Юрием Петровичем я играю, когда могу, некоторые старые спектакли. Новых ролей нет. Но мне и того, что раньше было, более чем достаточно. Теперь я уже могу выбирать. Все, что я делаю последнее время, можно назвать коротко и просто - я репетирую свободу. «Я был привязан навсегда цепью к Таганке. Потом цепь сдана в архив, и я, как с цепи сорвавшийся, побежал по свету». Так, кажется, написано в предисловии к моей книге. И это правда.

Эскина: Но прикован все-таки к сцене!..

Смахов: Тогда я был работал так же, как мои товарищи. Посмотрите на Табакова. Это человек огромной славы, таланта, в том числе и административного... А не играть не может. Так и Саша Калягин. Я же получаю удовольствие от других моих театральных проделок. За последнее время я поставил шесть опер в Германии, «Кармен» в Голландии, в любимой Праге вместе с нашими замечательными художниками Мозаровой и Даниловым три месяца работал над «Пиковой дамой». И роман с оперой продолжается, хотя в Германии и других странах этому мешает экономический кризис. Но я спокоен. Мне уже так много повезло, что можно «поспешать, не торопясь».

Эскина: Я очень люблю твой спектакль «Али-Баба», который записан на пластинку.

Смахов: Ее тираж уже перевалил за 4 миллиона. Но ведь и компания там подобралась прекрасная: Джигарханян, Юрский, Табаков, Тенякова, Филатов, Зоя Пильнова и, конечно, композиторы Никитин и Берковский, написавшие музыку к моему шальному тексту. Эту пьесу я по-

ставил и в Израиле. Ее перевели на древний язык этой страны. Только вместо «Персия» пели «Туркия» - так им показалось вернее. Половина актеров были «древние» евреи. А другая половина - «древние» арабы. Али-Бабу совершенно замечательно играл мальчишка-араб. На премьеру пришли журналисты и стали спрашивать, какие у нас были политические конфликты за репетиционный период. И тогда актеры открыли рот и с включением большого количества нецензурных слов послали журналистов. Причем хором - и евреи, и арабы. И правильно: театр должен соединять людей и презирать политиканство.

Эскина: А как вообще тебе работается с актерами?

Смахов: Радостно. У меня ведь какие были «послушники» в актерах? Табаков, Смоктуновский, Коренева, Бортник, Юрский, Джигарханян, Филатов... В телетеатре я даже Петра Наумовича Фоменко когда-то снимал как актера. Когда Леня Филатов в прошлом году узнал, что снимаю Славу Невинного, он сказал мне: это реальный великий русский актер. Это был «Лекарь поневоле». А в роли Мольера согласился петь и снимать наш классик бардовского искусства Юлий Ким. Снял и Витю Шендеровича, и ставшую теперь звездой Марину Александрову. В двух ролях снял и свою дочь.

Эскина: Мне очень интересна твоя дочь Алика. Когда-то я прочла твой совершенно блистательный литературный опус, написанный к десятилетию Таганки. А через много лет в интервью Алики вдруг узнала тебя и просто заболела ею. Настолько она глубоко и интересно размышляла. Потом увидела Алику в нескольких ситуациях - и решила, что все-таки она для меня чужая. Еще через какое-то время встречаю ее на годовщине авторского телевидения и вижу совершенно новую женщину - современную, элегантную, сдержанную, удивительно стильную... И тут я подумала, что, наверно, в том давнем интервью и было то, что в ней главное. Она просто в пути, поняла я. Принимаешь ли, однако, ты в этом процессе участие?

Смахов: Когда меня спрашивают о детях, мне всегда хочется сначала рассказать о старшей дочери - Ленке. Она, правда, особенная - красивая, талантливая как литератор. И конечно, она влияла - и очень правильно - на Алику. В нашем доме вообще действовал закон влияния. Ленка - это то, что в наше время редкость: это красивая, правильная речь. Их мать - высокограмотный и литературный человек. Я тоже не могу жить без слова и даже говорю, что моя родина - русский язык. Потом, кстати, я узнал, что так же и Бродский говорил. (Вернее, извини, я - как он.) Алика же оказалась скорее васьилком среди ржи, чем нормальным растением. Она все время сбегала от той судьбы, которую ей мама с папой сулили. Но это еще не означает, что она уходила далеко. Она просто искала свой путь и так нашла его, причем что очень важно - сама. Она проделала кульбиты, о которых ты упоминала, но кончилось все моей любимой темой - возвращением.

Алика вернулась к какому-то очень важному пункту своей женской биографии, где много стиля, вкуса, покоя... Наверно, в таком выборе мое начало тоже играло важную роль: я меньше назидал, поскольку сам был таганцем, а в том числе и поганцем. Я постоянно водил девочек в театр, который воспитывает сам по себе. Алика была просто обречена поступить в актрисы,



ФОТО ЭДУАРДА ЛАПОВКА